

ВАРДГЕС ПЕТРОСЯН

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

Перевод Г. Кубатьяна. М.:

Помните и чтите этого благородного человека.

Он любил людей и честным ушел...

Надпись на могиле К. Насибяна.

Село Кохб,

Ноемберянского района,

1955

Врач был болен. Он сидел перед окном, а внизу, по ту сторону отдающего голубизной стекла, лежала деревня, и весеннее небо поливало ее, как из лейки. Просветы между нитями дождя мало-помалу заполнялись темнотой, поглощавшей и влажные крыши домов, и улицы, и деревья. Внезапно в окнах приземистого домика, как раз у дороги, пересекающей село, он заметил свет. Поднялся, подошел к дверям, включил лампу. До него уже дошла придуманная кем-то небылица о том, что врач якобы намеренно, с умыслом, поставил свой дом на возвышенности: так его жилище видно всему селу, а он видит все село. В действительности же дом тридцать лет назад выстроил его дед, но лампу в кабинете он и на самом деле не гасит: коль скоро у людей возникнет в нем нужда, пусть знают — он у себя. У него уже вошло в привычку оглядывать поздней ночью село: заметив в каком-нибудь окне свет, он думал, что в этом доме или радость, или есть больной. Если второе, то надо быть наготове. Но вот он и сам болен. Когда она появилась, эта болезнь? Вероятно, прошлой зимой. Последние несколько месяцев ему уже невольно стало терпеть: какая-то неодолимая сила медленно сжимала сердце, и сердце почти не сопротивлялось. В нем не зарождались больше слова, обращенные к другим, — обычные человеческие слова, от которых, однако, больной либо потеряет дар речи, либо просияет и от которых попятится, отступая прочь, болезнь. Но для себя у него не было нужных слов, он не мог их найти. Таким же точно звонким весенним днем с дипломом врача в кармане он направлялся в родное село. Сердце нетерпеливо билось в груди, сердце, как и всегда, забегало вперед, стремясь скорее, как можно скорее воспарить над крышами, чтобы потом, наподобие стосковавшейся птицы, опуститься в конце концов на согбенные плечи матери.

Он торопился... И, может быть, именно поэтому не стал, сойдя с поезда, дожидаться попутной машины — ему не терпелось попасть домой. И вот он идет по большаку, и его глаза разбегаются. Господи, какая же здесь красота, и в целом мире их двое: только он и только природа... Вдруг он видит старика. Тот шагает посреди дороги с увесистым хурджином* на плечах. Он ускорил шаг, догнал старика.

— Ты куда, отец?

— Вон к той горе.

— И мне туда же...

Хурджин у тебя, видно, тяжелый, давай-ка я понесу. Старик вскинул брови. — Неловко, ты ведь тоже не налегке. — Да я ж молодой. Он взвалил ношу на плечо. И снова потянулась дорога. Он не знал, о чем думает его спутник; они шагали бок о бок, но словно бы порознь. Его жизнь только начинается, а старик, может статься, в последний раз идет этой знакомой, хоженной-

перехоженной дорогой. Мысленно он взбирался на окрестные холмы, валялся на яркой их зелени, сердце его с каждым своим ударом отсчитывало новый виток дороги, а старик, должно быть, мечтал о том, чтобы всякий земной путь был прямым. Молчание прервал старик:

— Спина вроде как не моя.

— Надо обратиться к врачу.

— Это я и без тебя знаю, скажи что другое.

— Что тут скажешь? Вошли в село.

— Ну, спасибо, сынок.

— Нет уж, пойдем к врачу.

Старик присел в больничном коридоре, а молодой человек прошел в приемную. Медленно текли минуты, старика клонило ко сну.

— Отец, тебя врач вызывает. Старик открыл глаза, с минуту поглядел на знакомую медсестру, потом, пристроив хурджин под стулом, поднялся, осмотрелся и вошел в приемную. По комнате в белом халате прохаживался его попутчик.

— Ну и ну! Опять ты?.. Старик стал первым его пациентом в родном селе. С тех пор минуло десять лет. Тогда тоже была весна, только без дождя и без этой изнуряющей боли.

Помнится, когда он пришел домой, селом уже владел мирный, задумчивый вечер, и он долго-долго смотрел из-за ограды окрест — на душе было легко и радостно, а лоб еще не бороздили морщины. В то время это раскинувшееся внизу село казалось ему родным, но незнакомым, даже таинственным, и он смотрел на него широко раскрытыми глазами, удивляясь каждому кусту у дороги, кровле каждого дома. А теперь...

Теперь, чуть разлепив веки, он безошибочно узнает эти дома — точь-в-точь слепец, который ошупью различает черты близких ему людей. Врач был болен.

— Принести молока? — послышалось из соседней комнаты. Он обернулся, на пороге стояла жена. (Ты понапрасну отводишь глаза, понапрасну прячешь грусть; ну да не беда, вечер меня успокоил, мне уже лучше. Твой голос подрагивает, вот это скверно...) Он без видимых усилий поднялся со стула и, улыбаясь, подошел к жене.

— Молока? Ну конечно выпью.

— И после минутной заминки:

— Принеси, пожалуйста, вниз, я хочу немного поработать, Ее живые, лучащиеся светом глаза всегда были озабочены, но, глядя на мужа, она скрывала свою озабоченность.

— Хорошо, я отнесу молоко вниз, — сказала она, через силу улыбнувшись. — Знаешь, сегодня ты хорошо выглядишь.

— Серьезно? — И, недолго помолчав, добавил:

— Разве позволительно врачу болеть? Они спустились вниз. Там располагался его кабинет — маленькая комнатка, которую он, врач, собственноручно соорудил несколько лет назад. В кабинете не было ничего лишнего: два книжных шкафа, стул, раскладушка, письменный стол и... две двери. Одна из них «потайная». Жена зачастую сердилась, ведь к нему в любое время дня и ночи шли больные, и вот выход найден: теперь она не знает, кто пришел, кто ушел. Из единственного в кабинете окна открывался, по существу, тот же самый вид: не было видно только вершинной части противоположных холмов да еще пересекающей село дороги. Врач сел за стол.

— Мне уйти? — спросила Гоар.

— Нет, обожди. Подойди ко мне. На столе стояли фиалки.

— Кто их принес?

— Товарищи Мартуника. Ты спал, но они сказали, чтобы я никому не давала цветов, только дяде доктору...

Трижды предупредили. Врач улыбнулся, взял букетик, поднес к лицу. И внезапно ему почудилось, что эти цветы — чистые, славные детские глаза, несмело, но с пониманием следящие за ним. И еще ему на мгновение почудилось, что его комната тотчас наполнилась всеми запахами, всеми красками родных полей и потому ее стены словно раздались, а окно стало шире. Он почувствовал себя на редкость бодрым и молодым.

— Не приняться ли мне за диссертацию, Гоар?

Подиктую тебе, а то ведь своего почерка я и сам не разбираю.

— Было бы очень хорошо, — обрадовалась жена. — Я возьму бумагу и чернила. На столе лежало несколько обыкновенных синих папок.

Он раскрыл первую попавшуюся.

— Напечатается ли это когда-нибудь? — прошептал он, и в шепоте его жена расслышала такую глубокую, такую неподдельную грусть, что на глаза у нее навернулись слезы.

— Обязательно напечатается, обязательно. Их взгляды встретились. Сколько он длился, этот миг? Кто знает... Протяженность таких мгновений не определить секундомером. Они взглянули друг другу в глаза, им показалось, что в их сердцах зажегся какой-то огонек, жизнь полежала, горе отступило. Так бывает во время бури: вздымается на волнах лодка, в ней двое, они изо всех сил борются со стихией, их души трепещут, с каждой минутой слабее надежда, но вот их взгляды встречаются, и в ту же минуту обоим кажется, что стихия побеждена. Их взгляды встретились. Врач порывисто обнял жену и крепко, очень крепко прижал к груди. Жена ушла. У врача едва хватило сил продиктовать первую страницу диссертации. Он быстро устал, его веки налились тяжестью, а сердце наполнилось безразличием: да нужны ли хоть кому-нибудь на свете эти бумаги? Он заново принялся перелистывать черновики. Сколько лет его жизни они вобрали в себя? Сколько дней и ночей просидел он, отрешенно уставившись в эти никем еще не прочитанные строки? Было и приятно, и тяжело дотрагиваться до этих бумаг, отзвуки давно миновавших дней были и желанны, и горьки. Вот фронтовой дневник — три наспех сшитых и густо исписанных карандашом тетради. Неужели вам удалось сохранить хотя бы искорку от пожара тех грозных лет, когда горела не только земля, но и людские сердца, когда, случалось, что было куда

важнее, чтобы под обстрелом уцелела человеческая душа, а не здание или же мост? Ему было немногим более двадцати, когда началась война, и, в три года закончив шестилетний институтский курс, он надел солдатскую гимнастерку. Сначала он попал в один из тыловых госпиталей. «Слава богу, — сказал посланный с ним вместе врач, тоже молодой, высокий и красивый малый.

— Война — она для нас и здесь война. Только и разницы, что не получим орденов. Да и на что нам орден? В наше время нет награды лучше головы на плечах». «Какие были дни!» — вздохнул врач и поднес поближе пожелтевшую страницу.

«Нет, я не на фронте. Бойцы, которых мы лечим, ранены на передовой, но все равно я-то не на фронте. Неужели мне придется вернуться домой отсюда? Как же я посмотрю людям в глаза?» Он захлопнул тетрадь и так осязаемо, так явственно увидел себя, тоненького, бледного, совсем еще юношу, что померещилось: прямо сейчас свежеиспеченный этот врач сядет против него и прочтет нотацию.

Потом он увидел себя уже на фронте — возмужалого, с погрубевшим лицом. Юношеская неопытность и мечтательность испарились, как йод. Осталось сердце, и сердцу предстояло выдержать испытание... Он припомнил смутные, давние картины и опять начал перелистывать дневник. Вот несколько строк, кое-как нацарапанных сломанным пером: «Неподалеку от Варшавы мы заняли лагерь для военнопленных. Побывали на кладбище. У каждой могилы табличка с надписью, где указано, сколько человек в ней захоронено.

Под любым квадратным метром земли — по семьдесят-восемьдесят трупов. Выходит, мы спасли одни только могилы...» Глаза врача наполнились слезами, легкие вобрали яд ужасающего воспоминания, но взгляд не отрывался от старой записи. «В этом лагере бывшие военнопленные показали мне худого высокого немца с погонами лейтенанта. Страшные, невероятные вещи рассказывали они про него: не моргнув глазом, размашистой и длинной автоматной очередью он расстреливал десятки пленных, но в течение двух-трех недель носил под кителем, выхаживал и оберегал покалеченного скворчонка. В один прекрасный день он никого не расстрелял, был понур и мрачен. — Капут моя птичка, — вздыхал он, а светло-голубые его глаза были полны слез. Я подошел к нему и по-немецки прокричал в ухо, что тот, кто не любит человека, никого и ничто не полюбит по-настоящему. Он посмотрел на меня долгим, пронзительным взглядом и промолчал. Это был самый гнусный, самый омерзительный враг, встреченный мною на дорогах войны, хотя кто-то из наших, услышав историю про скворца, сказал сдуру, что, дескать, и у фашиста, как выясняется, есть сердце». Врач встал, распахнул окно.

Прочитав эти строки, он ощутил на плечах ужасную тяжесть и не знал, как от нее избавиться. Потом припомнил еще один случай... В тот раз он сам был жесток. По крайней мере так определили его поведение другие. Один из его подчиненных, немолодой уже фельдшер, снял одежду с убитого советского офицера и присвоил ее себе. Он услышал об этом, когда лежал в блиндаже, отдыхая после операции.

Вздрогнул, точно громом пораженный, и метнулся наружу.

— А ну-ка, живо позовите мне этого... И выругался. Никогда прежде он не позволял себе брани.

— Обедает, товарищ капитан...

Задыхаясь от гнева, он кинулся на кухню. Фельдшер и вправду был в новеньком офицерском обмундировании (голенища сапог поблескивали), сидел себе и хлебал борщ. Он и сам не понял, как случилось, что он швырнул миску с борщом наземь. Вид у него, вероятно, был устрашающий, глаза пылали — фельдшер попытался было вскочить с места, но споткнулся и упал.

— Немедленно раздевайся, подонок!

Перепуганный фельдшер не вставая принялся рвать на себе пуговицы.

— Немедленно своими руками одень убитого и попроси у него прощения. Слышишь, у него! Фельдшер кое-как встал и переминался с ноги на ногу. Он дрожал — от ужаса? Или в нем пробудился-таки человек?

— Немедленно одеть убитого и явиться сюда! Изрядно струхнувший фельдшер исчез. Он запретил ему одеваться до самого вечера. До самого вечера фельдшер щеголял в исподнем и не жаловался. А он пережил случившееся очень болезненно. Разве, умерев, сложив голову на поле боя, человек перестает быть человеком? Разве его не следует уважать после этого вдвойне? Откуда берется отребье вроде этого фельдшера? Он чувствовал, как непереносимая тяжесть всех, всех до единой мировых неурядиц и изъязнов ложится ему на плечи, сжимает сердце, ошибки других становились его собственной болью, его собственной открытой раной. Но, стиснув зубы, он по-прежнему стоял на своем, держался чистоты и порядочности. Он знал: тот неопровержимый факт, что на земле есть подлецы, не освобождает его от обязанности оставаться человеком. ...Врач все еще не отходил от раскрытого окна. Мысли унесли его далекодалеко, но его сердце, его душа и плоть были здесь, в этом небольшом, ничем не замечательном селе. А дождь барабанил и барабанил по крышам, повсюду светились огни. Кто это там идет под дождем? Их, кажется, двое? Так и есть. Вот они приблизились.

— Доктор... Что это у нее на лице? Дождевая вода? Или слезы? Ночь одела ее в черный наряд, окутала влажной темнотой, и только ее глаза, обрамленные черным, искрились во мраке, только руки были не подвластны тьме. Врач хорошо разглядел эту женщину. Мать, как сразу же подсказало ему сердце. — Доктор, мой ребенок умирает... Он быстро открыл вторую дверь. — Входите. Но женщина не двигалась с места, словно дерево, вросшее в землю корнями. — ...умирает... — Я... сейчас... — То есть как?! Он обернулся. В другой двери стояла Гоар — он видел только ее глаза, ее милые, до последнего оттеночка знакомые и любимые глаза. Словно два костра пылали на ее лице, и ветер раздувал пламя. В них, в этих глазах, был и приказ — окончательный, не подлежащий обжалованию, — и мольба. В глазах Гоар был никогда прежде не виданный им блеск. Он произвольно повернул голову — у порога под дождем стояла женщина. Все в той же позе. Ее глаза не приказывали. И не молили. Она была только мать — самое сильное и самое слабое существо среди людей, и ей не было надобности кричать, что она готова идти под этим дождем хоть на край света ради своего ребенка.

— Откуда вы? — Не узнаешь меня, доктор? Я жена Вароса. Вы вместе уходили в армию. На мгновение округу озарило оранжевое сияние молнии. Варос? Ну как же, разумеется, он помнит. В поезде их разлучили, и они уже не видели друг друга. Стало быть, ребенок его, Вароса? Они живут в соседней деревне, в восьмидевяти километрах отсюда, в ущелье посреди гор. — Дай мне плащ и сумку. Гоар застыла в дверях. — Ты же болен, тебе нельзя. Не пущу! Женщина стояла молча, она понимала Гоар и ничего не могла требовать; не пойдет этот врач — она безропотно продолжит свою дорогу и, если только не умрет в пути, непременно приведет к ребенку другого. Дождь лил как из ведра, наполняя ночную пустоту неповторимым своим шумом. В селе гасли последние

огни, а в тесной комнатухе лихорадочно колотились три сердца, в тесной комнатухе горела керосиновая лампа. Врач вспомнил случай, происшедший несколькими днями ранее. За ним пришли из дальней деревни, но он узнал об этом только потом: от него скрыли. Такое приключилось с ним впервые за всю его жизнь, впервые он не пожал протянутую ему руку и мысленно поклялся, что это было в первый и последний раз. В последний. Это случилось на днях, он всю ночь не сомкнул глаз, всю ночь слышал голоса незнакомых, пришедших издалека людей, всю ночь сам подавал кому-то голос и искал отклика, всю ночь он сгорал со стыда... Нет, этого не повторится: покуда есть больные, врач всегда здоров. Надо поторапливаться.

Правы обе — и эта незнакомая женщина, и Гоар, — но самое-то истинное вот что: там, в деревне, в этот час и миг угасает под ветром смерти слабенькая лампадка жизни, а он — врач. Нет, он просто человек. Лошади выбились из сил. Слабый поначалу дождь превратился в ливень, дорога была грязная и темная. Лошади только это и понимали, миром в их представлении была, вероятно, только непролазная эта грязь, только беспросветная эта дорога. Они двигались тихо, лишь изредка всхлипывая и проглатывая заодно с влажным воздухом свое ржание. Словно чуюли, как напряжена пружина времени, и не хотели ничему мешать. Люди молчали. Врач покачивался в седле, женщина молилась, устремив на него взгляд, а сопровождавший ее юноша шел следом, понукая лошадей. Настроение у врача было хорошим, только вот внутри словно бы занимался пожар... Дорога была ему знакома, как болезнь близкого человека, грязь его не тревожила, а езда верхом была даже приятна. Сердце исполнилось удивительной ясности — наперекор угрюмости природы. Он любил дождь. Сколько раз ему доводилось спать под дождем! Вдруг без видимого повода он вспомнил эпизод военного времени. Они втроем мылись в полевой бане — он, Парфенов, Мамед. Лил дождь, дождинки просачивались вовнутрь и смешивались с горячей водой. Только они вымылись, началась бомбежка. Они тут же растянулись на полу, в грязи. — Не беда, коли ранят, с нами врач, — сказал Парфенов.

А Мамед — тот нашел время острословить: — Если убьют, попадем в рай, мы ведь чистенькие. Бомбежка кончилась. Они поднялись с пола. Горячая вода была уже израсходована, им поневоле пришлось полоскаться под дождем. Дождь шел проливной, нескончаемый. На следующий же день Мамед погиб. Схоронили его поблизости от места, где расположилась их часть, и они с Парфеновым долго просидели у могилы. Опять лил дождь, продолжение вчерашнего, а Мамеда не было...

— Осторожно, доктор! Его предостерег юноша. Впереди мчался поток, мутный, стремительный. Лошади остановились. Врач очнулся, спрыгнул — необходимо было отыскать брод. Его взгляд случайно упал на женщину — та крепко натянула поводья и погнала лошадь вперед. Она торопилась, у нее не было времени раздумывать. Эта женщина, как магнит, потянула, повлекла его за собой. Он подхватил юношу под мышки и хлестнул лошадь. В ушах стоял неопиcуемый шум. Ноги лошади скрывала грязно-коричневая, кофейного цвета жижа. Она с трудом сопротивлялась потоку и упрячилась, не хотела идти. Мышцы врача словно одеревенели, больное тело напряглось до предела. Наконец поток остался позади, врач вытер лоб и грудь и вдруг понял, что вымок не только от дождя, но и от пота. Чьи это руки прикоснулись к нему? Спина ощутила какую-то тяжесть. Это женщина попыталась накинуть на спину врача шаль, а сама между тем дрожала.

— Что случилось с вашим Багдасаром, поправился? Женщина подняла на него глаза.

— Поправился. Ну прямо чудом... Чудом? Взглянув на женщину, врач не смог сдержать улыбки. Перед его глазами возникла картинка двухнедельной давности. За ним приехали. Он отправился с приехавшими. Багдасар лежал под несколькими одеялами. Он подошел, осмотрел ногу. Боль должна была уже пройти.

— Попробуй-ка сесть.

— Доктор, — Багдасар кинул на врача умоляющий взгляд, — двинуться и то не могу. — Встань на здоровую ногу. Багдасара кое-как усадили.

— Вставай. Погубить меня хочешь? Встань на здоровую ногу.

Он обнял больного и поддержал.

— Ну, пошли.

— Доктор... Так, поддерживая, он довел Багдасара до середины комнаты и проворно высвободился из его рук.

— Теперь иди! Багдасар растерялся, другого выхода не было: или усесться на пол (позор-то какой, сраму не оберешься!), или... И, припадая на здоровую ногу, потихоньку двинулся вперед. — Поворачивай назад. Что было делать — опять центр комнаты, опять Багдасар рядом с врачом. И вдруг чувствует, что нога у него как нога и ничуть не болит.

— Да как же это так, доктор?

— Как? Видишь ли, Багдасар, боль из ноги уже ушла, а вот мозг о ней помнил, накрепко она в нем засела. Так-то. Багдасар оделся и, сопровождаемый удивленными, испуганными взглядами домочадцев, вышел на улицу — проводить врача. Женщина слушала рассказ, а из глаз у нее текли слезы.

Слезы горя? Или же радости? Или надежды? Видимо, и того, и другого, и третьего вперемешку... Последние километры пришлось прошагать пешком. Грязь стала вконец непролазной, ноги лошади увязали в ней по колено. Ехать верхом стало небезопасно. Женщина и врач шли впереди, а юноша вел лошадей. Тьма сгустилась. Дождь прекратился, и окрестности исполнились такой тишины, что сердце леденило ужасом. Врач шел с трудом, ноги отяжелели и отекали, грязь втягивала, удерживало больное его тело. Вдруг он нащупал в кармане табакерку. У кого он ее взял? Ага, вспомнил. И тут же ощутил непреодолимое желание закурить. Он зажег спичку. Ему очень нужен теперь этот дым, а вернее — свет. Пусть рассеется мрак, пусть хотя бы ничтожная искорка мерцает во тьме. Неожиданно он улыбнулся: что сказали бы односельчане, увидев его курящим, — ведь ящики его письменного стола битком набиты отобранными у них табакерками, кисетами, мундштуками. Однажды он издали заметил, что Бало Багдасарян курит. Направился к нему.

Бало стало жаль выбрасывать сигарку, он сунул ее в карман. Врач поинтересовался:

— Что куришь?

— Бог свидетель, доктор, и не думал курить.

— И седовласый мужчина зарделся, как мальчишка.

— Карман-то горит. Что скажет теперь Бало, увидев врача с папиросой? Должно быть, поймет, должно быть, не поднимет на смех. Внезапно он ощутил ком в горле, дыхание перехватило, а глаза увлажнились. Вспомнил ли он детей, невыносимой ли стала боль, угнетающе ли подействовало на него безмолвие ущелья?.. Вдали показались огни — деревня! Женщина инстинктивно ускорила шаги. На какое-то мгновение она позабыла и о враче, и о том, что теперь ночь. «Каково-то сейчас моему сыночку?» — кричало, разрывая тишину, ее сердце, и весь мир сосредоточился для нее на простенькой дощатой тахте под желтыми волнами электрического света. Врач тоже ускорил шаги. И тут тишина разом нарушилась: ему даже почудилось, что поблизости загрохотали взрывы, а сам он где-то на склоне горы. Надо во что бы то ни стало достигнуть вершины, надо, надо, а там можно и отдохнуть. Отдохнуть?

— Доктор, милый, душу за тебя отдам! Он почувствовал, что окружен десятками людей, почувствовал, что воздух словно уплотнился от их дыхания, почувствовал прикосновение чьих-то грубоватых рук и увидел перед собой склонившуюся над тахтой женщину, мать ребенка. Словно легким и неприметным движением плеч он сбросил с себя усталость, отрешился от собственной боли, поспешно раскрыл сумку и надел халат.

— Всем выйти из комнаты! Добавьте света! В комнате потушили лампу. Уже рассвело. Воздух был туманный и цветом напоминал молоко. Сквозь приоткрытое окно в комнату вливалась прохлада апрельского утра. Она-то, наверное, и разбудила больного. Мальчик посмотрел вокруг черными, замутненными болезнью глазами.

— Мама!.. Заговорил ли в ней материнский инстинкт? Или утренняя тишина была столь прозрачной и пронзительной? Мать услышала шепот сына и заторопилась из смежной комнаты. Подошла к кровати, погладила огрубелой своей ладонью лоб мальчика, нагнулась над лежащей поверх одеяла его рукой и омочила ее неудержимыми горячими слезами. И сквозь слезы увидела вдруг врача. Он сидел в изножье кровати, взгляд его был неподвижен, руки ослабли и беспомощно упали на колени. Лицо было бледным, как предрассветное небо. Только сейчас, когда женщина улыбнулась сыну, когда из его глаз потекли слезы, врач ощутил несказанную слабость, будто только сейчас осознал, как долго он шел под холодным дождем, какую мучительную бессонную ночь провел, борясь на границе со смертью за жизнь этого мальчика. Словно кто-то внезапно перерезал нить, всю ночь поддерживавшую его, и выбил из-под ног камень, на котором он стоял, напрягая мускулы души и тела. — Доктор!.. Врач упал на пол. На лбу у него застыла испарина, глаза были тусклыми, точно его взгляд устремился в беспредельную, не знающую ни начала, ни конца пустоту. Так было в самую первую секунду. Пока распахнулась дверь, пока голос женщины созывал людей, врач сумел опереться на ослабевшие, будто надломленные, руки и сесть.

— Мне срочно... нужно... в город... — прошептал он непослушными губами.

— Прямо в город... Люди прижались друг к другу, люди еще более ссутулили сгорбленные трудом и усталостью плечи, люди нашли в себе силы не завывать в голос от горя. Сначала они как-то съежились, понурили головы, но затем гордо распрямились — на их лицах лежал отсвет величия, которым поразил и потряс их врач. А он уже смог между тем усесться с чьей-то помощью на тахте и даже пытался изобразить улыбку.

— Трудное это дело — быть человеком, — вздохнул кто-то. Так, значит, говоривший понял это, так, значит, все эти люди, обыкновенные крестьяне, поняли, что он не был врачом, когда, разбитый болезнью, одолевал беспросветную ночную тьму, добирался до деревни и, стиснув

зубы, отрешившись от собственной боли, до самого рассвета бился за чужую жизнь? Так, значит, они поняли, что это не врач, а человек победил в единоборстве со смертью, победил самой дорогой ценой? Значит, они поняли, что самое трудное на земле — это быть человеком? Значит, они поняли это? А то, что случилось потом, похоже на легенду. Срочно прибывший в деревню врач сказал столпившимся сельчанам:

— Дорога после дождя стала непроезжей. Если повезти его на машине, он не выдержит тряски. Деревня сжалась воедино, точно кулак. Пришли старики, пришла молодежь. Они пришли и с суровыми, окаменевшими лицами, напоминающими барельефы, двинулись в путь — на фоне голубого апрельского неба, загоровшие под солнцем, с заскорузлыми от работы руками... И вынесли носилки, на которых, может быть, впервые в жизни покоился беспокойный этот человек, опять же впервые в жизни обременяя собою других. И люди двинулись в путь, словно обрели дыхание статуи, и носилки переходили из рук в руки. Они напоминали корабль, эти носилки, корабль, плывущий по волнам людских плеч (и сердец тоже!). Возле станции шествию преградили дорогу несколько застывших на месте, будто пригвожденных к земле автомашин. Растерянные, смущенные, из них выпрыгнули односельчане врача.

— Ну как ты, доктор, что с тобой стряслось? Врач приподнял голову:

— Получили вы, наконец, трубы?

— Да, доктор, да, родной, получили, не зря ты старался, — ответил здоровяк. — Исполнится твое желание, будет у нас родник. Врач помолчал с минуту, потом прикрыл глаза. И неожиданно вздохнул:

— Хотелось бы мне напиться из этого родника... — И напьешься! — понеслось со всех сторон.

— А какую пирушку устроим! А врач словно и не слышал. — У больницы тоже установите кран, — прошептал он, — под шелковицей. ...И шествие продолжило свой путь. А потом?.. Говорить ли, что из города его привезли в безнадежном состоянии (он сам попросил, чтобы его отправили в родное село)? Говорить ли, что дорогу от города до дома стоящие на обочинах сельчане устлали ветвями деревьев, чтобы последний путь врача оказался легким? Говорить ли, что во время его похорон окрестные деревни совершенно опустели и начнись где-нибудь пожар, не нашлось бы ни одного мальчугана, чтобы оповестить об этом народ? Говорить ли, что его похоронили на самом высоком в селе холме и что на могиле (такова была последняя его воля) зажгли электрическую лампочку, которая горит каждую ночь — как символ этого человека, всю свою жизнь горевшего ради других?.. Опять весна, как и в тот день, когда врач впервые направлялся в село, как и в ту ночь, когда он пошел под проливным дождем в соседнюю деревню... в последний раз. Опять весна в родном его селе. Склоны холмов словно выкрашены ярко-зеленой масляной краской. Улицы села окутаны клубящимся над землей густым белесым паром. Снова весна. К макушке холма взбираются четверо ребятишек. На невинных детских мордашках печать полнейшей, трогательнейшей серьезности. В тот день, когда врачу суждено было прожить последние свои часы, они пролепетали самые первые свои слова. Но прислушаемся к их беседе.

— Кто знает могилу доктора?

— Я.

— И я.

— Да кто ж ее не знает?

— Давайте отнесем туда фиалки? И завтра тоже отнесем.

Они отнесут фиалки на могилу врача.

И завтра.

И будущей весной.

Всегда.